

Лицом к лицу

После отступления Красной армии с Украины на север махновцы – если не считать петлюровцев, которые занимали западные области Украины и никак не могли отыскать свою тему в грандиозной и трагической симфонии Гражданской войны, – остались единственной силой, противостоящей Деникину. Легко было бы, учитывая модную сегодня тенденцию проявлять открытые симпатии к белому движению, это противостояние представить следующим образом: с одной стороны – цвет нации, цвет офицерства, движимый благородной идеей восстановления великой России, и казачество, воспротивившееся анархии и большевистской деспотии. С другой – сброд, взбунтовавшиеся холопы, голытьба, вольница в духе Разина, которой ведомы лишь разрушительные инстинкты и которая, сорвавшись с цепи, сама страдает от обрушившейся на нее безграничной свободы и ранится ею, как неразумное дитя, схватившее опасную бритву. И при желании мы, действительно, найдем сколько угодно подтверждений подобному строю мысли. Достаточно сравнить фигуры вождей двух противоборствующих сторон – Деникина и Махно, чтобы понять, как легко это противостояние сделать картинным, как легко навязать читателю свои предпочтения.

И действительно, казалось бы, о каком сравнении может идти речь? Махно: бывший чернорабочий, эксист, каторжник, в военном отношении самоучка, жестокий, именно лично жестокий партизан, в политическом смысле дикарь, анархист именно в силу невозможности понять, объять разумом опыт человечества, политической цивилизации, опыт демократии, в то время весьма, правда, испаскудившей себе репутацию мировой войной.

Другое дело – Антон Иванович Деникин, Верховный правитель и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. Этот спокойный, слегка полноватый, уравновешенный человек с довольно-таки пышными усами и интеллигентской бородкой клинышком, будучи облаченным в генеральский мундир, никак не производил впечатление крестьянского сына, более того, сына крепостного, в свое время забритого в рекруты. Отец Махно, как мы помним, тоже был крепостным, таким образом социальное происхождение и Деникина и Махно было одинаковым – и все же они антиподы, как бы результаты двух разных подходов к жизни, двух различных жизненных стратегий. Отец Деникина выслужился, вышел в отставку майором. Но никакого состояния он не нажил. В автобиографии Антон Иванович Деникин коротко отмечает: «Детство мое тяжелое, безотрадное. Нищета» (7, 76). Отец, выйдя на пенсию, получал 45 рублей в месяц, но вскоре умер, мать имела и того меньше. Деникин через реальное и юнкерское училище выкарабкался к офицерству, к военной службе. Карьера его началась успешно: младшим офицером в штабах различных военных округов; затем подсвечена была отблесками боевого пламени (в Русско-японскую войну – командир полка) и завершилась незадолго до Первой мировой войны генеральством. Он командовал бригадой «железных стрелков», прославившихся еще в годы последней Русско-турецкой войны, потом принял более крупное соединение – корпус. Стратегические способности его были несомненны. После февраля он

стал начальником штаба Ставки, затем – командующим армиями Западного и Юго-Западного фронтов: таким образом, с военной точки зрения, это был человек, имевший богатый и универсальный опыт – скоро выяснится, что он еще обладал даром политика и дипломата. И если о Корнилове как о бывшем своем подчиненном генерал Брусилов, перешедший на службу к большевикам, честно писал, что военные дарования не позволяют легендарному вождю белого движения занимать должность большую, чем командир дивизии (командуя более крупными соединениями, Корнилов начинал совершать ошибки и путаться в обстановке), то Деникин, ставший его преемником, обнаружил себя человеком, мыслящим широко и масштабно.

После Октябрьского переворота он не поддавался ни растерянности, ни искушению послужить новой власти. Одним из первых он в одиночку, под видом помещика, пробрался на Дон к Корнилову и стал его помощником. Был участником знаменитого Первого похода Добровольческой армии в январе 1918 года, когда теснимая со всех сторон «армия» – численностью едва больше четырех тысяч, почти сплошь – из офицеров и юнкеров, при восьми орудиях, – оставила забурлившую красными пузырями «обетованную землю донскую» и через степи двинулась на Кубань, надеясь хотя бы тут поднять на мятеж казаков. В эти месяцы (март 1918-го – знаменитый Ледяной поход, первые победы, соединение с кубанским отрядом полковника Покровского, неудачный поход на Екатеринодар, гибель Корнилова) зарождалась вся мифология белого движения, отмывалась символика белизны, чистоты идеи – самопожертвование во имя счастья и могущества Родины – и по крупницам собиралась героика похода, воплотившаяся позднее в символике нагрудного знака (меч, опоясанный терновым венцом) и в совершенно, по иронии судьбы, декадентском салонном романсе: «Не падайте духом, поручик Голицын...»

После смерти генерала Алексеева А. И. Деникин в сентябре 1918-го принял должность главнокомандующего Добровольческой армией, а в мае 1919-го, признав над собою власть Верховного правителя России адмирала Колчака, – стал заместителем главнокомандующего всеми Вооруженными силами России.

Деникин был известным мастером слова, выдающимся оратором, любил выступать. «Русский офицер, – говорил он в одной из агитационных речей, – никогда не был ни наемником, ни опричником. Забитый, загнанный, обездоленный... условиями старого режима, влача полунищенское существование, наш армейский офицер сквозь бедную трудовую жизнь свою донес, однако... – как яркий светильник – жажду подвига. Подвига – для счастья РОДИНЫ» (7, 16). В отличие от адмирала Колчака, который при всей своей исключительной самодисциплине и воинской честности и чести вынужден был делать «генералами» своей армии сибирских казачьих атаманов, своей бандитской практикой компрометировавших «белую» мечту своего вождя сразу и навсегда, Деникину удалось сплотить вокруг себя действительно одаренных и думающих военных. Конечно, и выслужившийся из фельдфебелей, но прошедший тщательную выделку в гвардии генерал от инфантерии Кутепов, получивший среди своих солдат прозвище «правильный человек», и генерал Слащев, закончивший Академию Генштаба, и генерал Эрдели, отпрыск древнего венгерского рода (предки которого служили еще в войсках Румянцева и Суворова), сам пять лет состоявший в императорской свите, были настоящими аристократами по сравнению с колчаковскими дуговыми и Семеновыми, не говоря уж о партизанских «батьках». Но даже

боевые деникинские генералы, сильно отличающиеся от штабной элиты – и образованием пониже, и кровью пожиже, – белые «партизаны» К. К. Мамонтов и А. Г. Шкуро по сравнению с командирами повстанцев выглядят, как римские центурионы рядом с лично мужественными, но дикими вождями галльских и германских племен.

Для Деникина Махно – варвар, разрушитель, одна из наиболее ярких «фигур безвременья с разбойничьим обличьем» (17, 134). Махновщину он в своих «Очерках русской смуты» прямо называет явлением «наиболее антагонистичным идее белого движения» (17, 134). Именно махновщину, а не большевизм. Почему? По той же, вероятно, причине, по какой значительная часть офицеров царской армии и, более того, треть генералитета считала для себя возможной службу большевикам. Большевики были не только сильнее и деловитее своих «попутчиков» по революции, они были (исключая романтический период 1917-го – начала 1918 года) бывшим служакам империи понятнее. Россия большевиков также представлялась огромным, сильным, централизованным государством, наделенным особой (хотя на этот раз и необычной) исторической миссией. Такому государству необходимы были и мощная армия, и традиционные институты принуждения и насилия, и министерские аппараты, для которых требовались специалисты разных необходимых в хозяйстве отраслей знания. Не то чтобы другие партии, называвшие себя социалистическими, отрицали это. Но их большевики победили. Идеи чистой демократии с крахом Временного правительства и разгоном Учредительного собрания, казалось, навсегда обанкротились вместе со своими лидерами. Повстанчество же, идущее под черным знаменем анархии, для кадровых военных, к которым принадлежала практически вся белая верхушка, воплощало в чистом виде идею бунта; причем не просто как неповиновения, грабежа, самозванчества, а в широком, бакунинском смысле – бунта как тотального разрушения всего: традиций, быта, культуры, истории, государства. Большевики были политическими соперниками, претендовавшими на роль новых, наглых, безграмотных – но, безусловно, решительных хозяев России. Повстанцы же – хламом, отбросами истории, ее выродками, нелепцами, химерами, как и проповедуемый ими анархизм, который для лидеров белого движения был политически не то что совершенно неприемлем, а как бы безумен.

Понять, как может великая держава распасться на сеть каких-то, чуть ли не по швейцарскому образцу, самоуправляющихся коммун, каких-то «вольных советов», людям, слепо приверженным русской государственной патриотической идее, а отчасти лишь слабо завуалированной идее монархической, – было просто невозможно. Политические ярлыки слепили всем глаза, повторялось вавилонское смешение языков: все до единой партии говорили о возрождении России, но никто уже соседа не разумел. В это время лишь единицы осмеливались думать, что другие тоже являются частью того целого, что составляло когда-то Россию, тоже являются носителями какой-то очень важной правды, так и не добытой ни литературой, ни благотворительностью, ни начатыми было реформами в бывшей империи, разломившейся на куски от противоречий, ее раздиравших.

Моя мысль будет понятнее, если читатель сопоставит, то есть поставит рядом две фотографии того времени, на которых отобразились два героя, порожденных Гражданской войной, два человеческих типа. На одном снимке изображен Андрей Григорьевич Шкуро, деникинский генерал, командир кубанской кавалерии, отчаянный партизан, отличный тактик: аккуратная черкеска с газырями, золотые погоны; коротко стриженные русые

волосы зачесаны назад, смелое, волевое, открытое лицо. Глядя на эту фотографию, думаешь, что этот человек, многожды проклятый всеми революционерами от анархистов до меньшевиков, был не только бесстрашен и дисциплинирован, но и не менее революционеров предан идее – идее белой России. На другой фотографии – командир махновской кавалерии Феодосии Щусь в Гуляй-Поле 1919 года: из-под бескозырки на плечи падают длинные волосы, тонкие усы над верхней губой, причудливый трофейный мундир – то ли гусара, то ли венгерского драгуна, большой перстень на левой руке. Поражает более всего то, что в фигуре повстанца есть какая-то подчеркнутость позы, какой-то надлом, словно перед нами не настоящий рубака, а ряженный, актер. Из всего окружения Махно Щусь действительно выделялся особым пристрастием к внешним эффектам – Н. Сухогорская упоминает, например, что одно время он ходил с головы до ног в красном, а С. Дыбец, оставивший в воспоминаниях беспощадно-издевательское описание внешности Щуся, в числе особенно поразивших его деталей туалета называет бархатную курточку и шапочку с пером. Может быть, Дыбец путает или врет? Он пишет далее, что «на пирах у Махно Щусь сидел, как статуя, и молчал. Он всерьез мечтал, что будет увековечен в легендах и сказках...» (5, 130). Если этот наивный нарциссизм – преувеличение, то еще большим преувеличением покажется свидетельство некоего Сосинского, приводимое в книге французского историка А. Скирда, о том, что он видел Щуся на коне, бабки которого были украшены жемчужными браслетами (94, 370). Но, скорее всего, все сказанное – правда.

Возможно, кому-то это покажется мелочью: более того, война нетерпима к оперетке, и уже на фотографии 1920 года франтовство Щуся выдают разве что чубчик, торчащий из-под фуражки, да дорогая португеза. Но, смею утверждать, именно с мелочей, с одежды, с манеры держать себя и начинается антагонизм повстанчества и белого движения. С одной стороны – ненавистные для крестьян высокомерие, выправка, барская аккуратность, с другой – ненавистные для служивых людей самозванчество, самолюбование, дерзостное своеволие невесть что о себе возомнившего мира голодных и рабов. И если, воюя с красными, махновцы охотно брали в плен целые полки, уничтожая лишь командиров и комиссаров, а солдат распуская на все четыре стороны – то есть как бы признавая в них заблудившихся «своих», – то в войне с деникинцами бились насмерть. Махновцы, попавшие в плен, офицерами уничтожались поголовно; офицерские полки вырубались махновцами полностью. Здесь какая-то страшная, трагическая несовместимость: сталкивались и бились две культуры, два образа жизни, прежде замкнутые в своих классовых нишах и практически не соприкасавшиеся. «Интеллигенты», за исключением земцев, «народ» не знали и жизнью его не интересовались. «Народ», со своей стороны, тоже не понимал, чем занимаются и какую роль в жизни общества играют привилегированные классы, «баре». Многочисленные революционные теории внушали ему, что эти паразитические, не занимающиеся производственным трудом классы вообще не нужны. Теперь, когда дети «буржуев» и «кухаркины дети» сошлись лицом к лицу, они, наконец, увидели друг друга. Что же увидели они? Узнали ли в облике друг друга образ Сына, признали ли братство свое? О, жалкие беллетристические вопросы! Конечно же нет, никакого родства не признали они! Ненависть войны спалила их души, и ничего, кроме ненависти и презрения друг к другу, они не вкусили. Вот наблюдение Н. Сухогорской за поведением махновца, заметившего на улице человека в шляпе. Он цедит сквозь зубы в лицо прохожему: «Ишь, в шляпе... интеллигент, видно, прикончить бы...» (74, 47).

Сама Сухогорская, со своей стороны, полна утонченного презрения по отношению к партизанам: повстанцы любят парикмахерские, карты, семечки – с едкой иронией констатирует она. Ей это чуждо. За бесконечным размусоливанием картишек и обезьяньим лужаньем семечек ей видится какая-то колоссальная внутренняя пустота. Но и о белых – вот что интересно – эта женщина вспоминает с ужасом и неприязнью. Трехдневное разграбление Гуляй-Поля, доверительное и оттого особенно отвратительное хвастовство начальника карательного отряда, в руки которому попался большевистский комиссар: «Я его так бил, что он действительно стал красным и внешне и внутренне» (74, 44), та же самая пустота и бездуховность – вот изнанка белого движения.

Действительно, если бы речь шла только о противопоставлении «белой» и «черной» кости, черного и белого знамени, при котором «черным», повстанцам, приписывались бы лишь неясные разрушительные инстинкты, а «белым» – те высокие идеалы и святые добродетели, которыми их с наивной непосредственностью порой пытаются наделить, – было бы абсолютно непонятно, каким образом махновцам за несколько месяцев удалось в буквальном смысле слова разгромить тыл деникинской армии, вновь поднять десятки тысяч крестьян на восстание против тех, кто претендовал на роль освободителей нации от «ига», и подготовить к зиме 1920 года еще более сокрушительный разгром белых, чем ждал красных летом.

То, что А. И. Деникин, еще в царской армии боровшийся с «отживающей группой старых крепостников», лично хотел бы, чтобы Россия, освободившись от большевиков, развивалась бы по эволюционному демократическому пути, сомнения не вызывает. Для порядка можно привести и соответствующую цитату – скажем, из речи на банкете в собрании ростовских граждан: «Я иду путем эволюции, памятуя, что новые крайние утопические опыты вызвали бы в стране новые потрясения и неминуемое пришествие самой черной реакции. Эта эволюция ведет к объединению и спасению страны, к уничтожению старой бытовой неправды, к созданию таких условий, при которых были бы обеспечены жизнь, свобода и труд граждан, ведет, наконец, к возможности в нормальной, спокойной обстановке созвать Всероссийское учредительное собрание...» (17, 137).

И все же эта прекрасная программа, и сегодня еще способная вызвать живое, сочувственное переживание – тем более что высказана она человеком, который долгие годы был в нашей истории олицетворением «самой черной реакции», – полностью провалилась. В своих «Очерках...» Антон Иванович с болью пишет о своих войсках: «Народ встречал их с радостью, на коленях, а провожал с проклятиями» (17, 270). Это признание человека, возглавлявшего на Юге белое движение. Что же случилось, что произошло? Казалось бы, несколько месяцев «крайних утопических опытов», проводимых на Украине партией Ленина, вполне выявили их крайне разрушительный для страны характер. Масштабы злодеяний, произведенных большевистской властью, казались поистине неправдоподобными: такое мог бы сделать враг, оккупатор, но не те, кто называли себя истинными друзьями народа и шли вперед в надежде осчастливить мир. Деникинская Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков в следующих цифрах и терминах подвела итог их пятимесячному господству: число жертв террора за 1918–1919 годы – 1 миллион 700 тысяч человек (17, 136). Разгром церкви. Систематическое «жестокое гонение на церковь, глумление над служителями ея; разрушение многих храмов с кощунственным поруганием святынь, с

обращением дома молитвы в увеселительное заведение». К сведению: «в Лубнах перед своим уходом большевики расстреляли поголовно, во главе с настоятелем, монахов Спасо-Мгарского монастыря» (17, 126).

В других областях жизни опустошение было не меньшее. Продолжаю цитировать выводы комиссии: «Большевики испакостили школу: ввели в состав администрации коллегия преподавателей, учеников и служащих, возглавленную невежественными и самовластными мальчишками-комиссарами; наполнили ее атмосферой сыска, доноса, провокации; разделили науки на „буржуазные“ и „пролетарские“; упразднили первые и, не успев завести вторых, 11 июня декретом „Сквуза“ закрыли все высшие учебные заведения Харькова» (17, 127).

«Большевицкая власть упразднила законы и суд. Одни судебные деятели были казнены, другие уведены в качестве заложников (67 лиц). Достоинo внимания, что из числа уцелевших членoв Харьковской магистратуры и прокуратуры ни один, невзирая на угрозы и преследования, не поступил в советские судебные учреждения... На место старых установлений заведены были „трибуналы“ и „народные суды“... Глубоко невежественные судьи этих учреждений не были связаны „никакими ограничениями в отношении способов открытия истины и меры наказания, руководствуясь... интересами социалистической революции и социалистическим правосознанием...“

Большевики упразднили городское самоуправление и передали дело в руки „Отгорхоза“. Благодаря неопытности, хищничеству, невероятному развитию штатов (в больницах, например, наблюдалось нередко превышение числа служащих над числом больных), тунеядству и введению 6-часового рабочего дня, городское хозяйство было разрушено и разграблено, а дефицит в Харькове доведен до 13 миллионов.

...Земские больницы, школы были исковерканы, почтовые станции уничтожены, заводские конюшни опустошены, земские племенные рассадники скотоводства расхищены, склады и прокатные пункты земледельческих орудий разграблены, телефонная сеть разрушена...

Пять месяцев власти большевиков и земскому делу, и сельскому хозяйству Харьковской губернии обошлись в сотни миллионов рублей и отодвинули культуру на десятки лет назад» (17, 127).

После всего этого возвращение цивилизованных хозяев страны должно было бы вызвать всестороннюю поддержку тех преобразований, которых, после всего сказанного, можно было бы от них ожидать. Однако последовал лишь ряд весьма осторожных деклараций о местном самоуправлении и о земле, которые решение этих двух важнейших вопросов российской жизни отодвигали в неопределенное будущее, тогда как счет шел на недели, самое большее – на месяцы. Пока же неопределенное будущее вызревало, возвращался фактически старый порядок, ненавидимый «низами» и прежде всего крестьянами, которые вынуждены были опять возвращать земли прежним владельцам, возмещать им убытки за счет урожая и т. п.

Никакие успехи – ни пробудившаяся жизнь общественных союзов и запрещенных большевиками партий, ни оживление производства, попавшего в руки прежних заводчиков, ни свобода торговли, ни даже «неизмеримо поднявшаяся» добыча угля в Донбассе, – не могли замазать этого свербящего, кровоточащего на Украине вопроса – кто будет владеть землей. Осторожный земельный закон, подготавливаемый в русле кадетской программы Колокольцевым, большей частью деникинского окружения воспринимался в штыки как слишком радикальный и «потрясающий основы»; все попытки подвести «некоторое юридическое обоснование под факт земельного захвата» (17, 271), которое смутно начал осознавать Деникин, а осознал только Врангель, – безусловно проваливались.

Вследствие этого все левые партии оказались в непримиримой оппозиции режиму. Партия эсеров, провозгласившая было вооруженную борьбу с большевиками, объявила о прекращении таковой и перенесении всей своей боевой активности на Деникина и Колчака, полностью развязывая себе руки заявлением, что в этой борьбе она будет пользоваться «всеми теми методами, которые партия применяла против самодержавия» (17, 163). Левые эсеры просто охотились за Деникиным и провалили покушение только из-за поразительного непрофессионализма террористов нового поколения; в Харькове члены боевой группы стояли буквально в нескольких шагах от принимавшего парад Деникина, но не могли убить его, так как в странствиях растеряли бомбы и оружие. Со своей стороны, убийство командующего Вооруженными силами Юга России подготавливали и крайне правые. Сам Деникин упоминает, в частности, что в январе 1920 года в Севастополе монархисты подпольно освятили нож, которым должно было устранить его.

Но не это было самое страшное. Страшнее, опаснее было то, что ожидаемого вождями белых повсеместного «восстания всех элементов, враждебных советской власти», не произошло. Русская буржуазия проявила крайнюю расторопность во всем, что касалось скорой наживы, спекуляции земельными участками, недвижимостью, но в достаточной степени индифферентно отнеслась к задачам, выдвинутым перед нею белым движением. Гражданского общества вокруг власти военных не сложилось, сочувствие проявлялось лишь на словах, наибольшую активность проявляли как раз правые, деятельность которых невольно сказывалась на физиономии режима: Пуришкевич, например, допускал конституцию и «свободы», но при этом все социалистические партии объявлялись антигосударственными, народному просвещению придавался характер «церковно-государственный» (17, 160). Устав «Умеренной партии», выработанный Н. Н. Львовым и профессором Н. Н. Алексеевым, говорил о необходимости «нравственного влияния Церкви Христовой на все стороны государственной жизни», в том числе на законодательство, вопросы политики и т. д. Два десятка организаций «Монархического блока» пытались объединиться вокруг лозунга «самодержавия, православия, народности», но, как не без иронии пишет Деникин, из предосторожности они не утруждали себя вопросами положительного государственного и социального строительства, а ограничивались общедоступным категорическим императивом:

– Бей жидов, спасай Россию! (17, 159).

Не было согласия даже среди центристских партий, имевших непосредственное касательство к работе правительства юга России – бывших кадет, октябристов, народных

социалистов, которые, по существу, сходились только в одном вопросе – в признании частной собственности. При этом одни удерживали военного диктатора Украины от слишком революционных преобразований, другие же, напротив, отчаявшись ждать их, довольствовались, как народные социалисты, ролью оппозиции, и их газета «Утро России» «помещала периодически резкие статьи против армии и власти» (17, 156).

Деникин с горечью признает, что его правительству не удалось «найти опору». «Деникинщина» – использую термин официозной истории, – несмотря на все старания наиболее дальновидных ее деятелей, так и осталась военной диктатурой, противостоящей народу, оторванной – во имя постулатов «белой идеи» – даже от интересов своих собственных легионеров. В результате режим Деникина не только не приблизился к решению наиболее важных экономических и политических вопросов (идея Учредительного собрания чем дальше, тем в большей степени становилась ширмой для откровенно диктаторских действий), но не смог даже подняться над уровнем той бытовой неправды, которая самому Антону Ивановичу Деникину была в дореволюционной жизни и очевидна, и отвратительна. Расстрелы «большевиков», репрессии в отношении недовольных, восстановление контрразведкой приемов сыска и, главное, крайнее ожесточение войск, в которых носители «белой идеи», ветераны-идеалисты (если только такие вообще существовали когда-нибудь) растворились до незаметности, – это тоже была бытовая неправда, причем неправда кровавая.

Под командованием Деникина была совсем уже не та армия, что когда-то совершала Ледяной поход: в нее было отобилизовано, одето в английское обмундирование и вооружено на средства союзников больше ста тысяч человек. Оторванные от дома, ничего не желавшие знать о своей очередной исторической «миссии» (ибо за минувшие два года разные режимы достаточно обременяли народ всякого рода «миссиями», чтобы приучить его относиться к ним наплевательски), эти люди буквально зверели в походе, изливая свою ненависть на неприветливо глядящих крестьян и беззащитных перед любой сменой власти евреев. Антисемитизм в войсках был развит едва ли не до степени тяжелой душевной болезни. Генерал Драгомиров писал Деникину из Киева: «Озлобление войск против евреев доходит до... какой-то бешеной злобы, с которой ничего сейчас поделаться нельзя» (17, 149). Сам Деникин позднее вынужден был признать: «Войска Вооруженных сил Юга не избегли общего недуга и запятнали себя еврейскими погромами на путях своих от Харькова и Екатеринослава до Киева и Каменец-Подольска» (17, 146). Вообще, евреи служили лишь в Красной армии и у Махно: последнее может кому-то показаться почти невероятным, ибо Махно в нашей истории выставляется как погромщик, но тот, кто хоть чуть-чуть интересовался махновщиной, знает, что факт существования в армии Махно «еврейской роты», «еврейской батареи» и т. п. лежит в слое совсем неглубоко зарытых истин. В армии же Деникина антиеврейские настроения были столь сильны, что приказом командующего были выведены в запас несколько офицеров-евреев, участвовавших еще в Первом кубанском походе. Подписывая приказ, Деникин стремился избежать инцидентов и обезопасить жизнь и достоинство ветеранов, но он не мог не понимать, что это – бесчестье и позор, достойные разве что петлюровцев, но не славного белого воинства. Но что поделаешь – история вновь подыскивала собственные формы для воплощения идей, порожденных человеческим разумом для всеобщего якобы блага, и вновь по-своему расставляла разноцветные политические фигурки на исторической арене...

Махно на некоторое время оказался оттесненным с авансцены почти за кулисы: он формировался в ничейном пространстве белого тыла возле станции Помощная, и, хотя Аршинов, а вслед за ним и Волин пишут о почти ежедневных боях с белыми и даже попытке наступления на Деникина, нам придется списать это на счет преувеличений. Никаких серьезных боев до конца августа не было; случались, должно быть, лишь налеты за оружием, которое для махновцев всегда было проблемой номер один.

Племянница Михаила Полонского, полк которого при неясных обстоятельствах присоединился к Повстанческой армии, рассказала мне эпизод, который хоть и выглядит, подобно большинству свидетельств не из первых уст, как мифологема, тем не менее достаточно красноречиво описывает ситуацию. Якобы, когда Полонский был представлен пред очи Махно, тот велел разоружить полк.

- Чем же я буду воевать против белых? - спросил Полонский.

Махно показал в сторону деникинцев:

- Пойди и там добудь себе оружие...

На деникинцев работала гигантская машина английского военного ведомства, великолепно отлаженная в недавно завершившейся и победоносной войне. В штабе его были опытейшие, испытанные офицеры. В кругу окружавших его политиков - «звезды» первой величины: П.Б.Струве, Н. Н. Львов, В. В. Шульгин.

Советниками Махно были несколько его командиров, ни один из которых в прошлом не имел офицерского чина, да пять или шесть анархистов, которые после вступления деникинцев в Харьков и разгрома «Набата» бежали к Махно. Но летом 1919 года в Повстанческой армии «идейных» работников были буквально единицы: Иосиф Гутман, по кличке «Эмигрант», Петр Аршинов, Михаил Уралов. Имен других мы не знаем. Наиболее значительной фигурой был, без сомнения, Всеволод Волин (Эйхенбаум), который возглавил сначала Культпросветотдел, а затем и Реввоенсовет армии, да и вообще сыграл в истории махновщины довольно значительную роль. Волина от большинства окружавших Махно людей отличал, во-первых, возраст - ему было уже 37, он казался едва ли не патриархом, и повстанцы называли его «дядя Волин», что очень нравилось ему. Во-вторых, он был образован. Во всей махновщине он был единственный образованный человек среди грамотных - черта уникальная. И если Аршинов, «учитель», всю книжную премудрость литературы, политэкономии и социализма перевозмогал самоуком, то Волин вырос в хорошей семье богатых врачей, с гувернером, французским и немецким владел с нежного детского возраста. Как и большинство революционеров, он успел немножко поучиться в университете (факультет права), но потом все забросил, искусившись эсерством, которое, как казалось, давало возможность обрести в жизни совсем иной смысл, а главное - обрести судьбу, поэму жизни в безголосий тогдашней действительности. Конечно, это был именно искус, обман, и он резал «новую судьбу», как по трафарету: арест, ссылка, эмиграция. Жизнь для народа в очередной раз оборачивалась для юного романтика жизнью вне народа, карьера политического эмигранта поколения 1905-1907 годов резко отличалась от судьбы «стариков»: если Герцен и Огарев жили прежде всего литературно, если Кропоткин после

тюрьмы Клерво целиком отдался научным изысканиям в области истории и социологии, если Лавров, несмотря на участие в Коммуне и связь с «Народной волей» и Интернационалом, тоже, в общем, оставался теоретиком, то новое поколение – сплошь практики, им было не до учености, ситуация в России как будто подгоняла их к живому делу, а когда дело не выгорело, началось дробление, фракционная борьба – особенно у социал-демократов и эсеров, – смятение и разочарование в связи с делом Азефа, да и вообще всеобщая склока и взаимные обвинения в неудаче низвержения трона.

В это время Волин познакомился во Франции с Аполлоном Карелиным – тоже блудным сыном в хорошем семействе, анархистом из числа последних теоретиков (в ту пору он не занимался глобальными вопросами, а скромно анализировал возможности кооперации), который и перетащил его из эсерства в анархизм.

Эмигрантская жизнь Волина протекала довольно бурно.

В то время анархо-синдикалистское движение во Франции было еще сильно (в какой-то мере оно играло в жизни общества роль крайней левой, оттенявшей «оппортунизм» французских социалистов, сказавшийся, прежде всего, в санкции своему правительству на ведение войны). В 1915-м, как воинствующий пацифист, Волин чуть было не был заточен французскими властями в тюрьму: власти понять можно, но можно понять и Волина, который, бросив жену и четверых детей, через Бордо бежал в США. Здесь он сотрудничал в «Голосе труда» – анархистском еженедельнике, который позднее перебрался в Петроград, а тогда выходил при Федерации союзов русских рабочих США и Канады, в которой состояло 10 тысяч человек, то есть вращался в тех же эмигрантских кругах, что и Дыбец, и, возможно, встречался с ним, хотя ни тот ни другой не упоминает об этом.

В 1917-м он, как и большинство эмигрантов, полный самых радужных надежд, бросается в Россию – и, как большинство эмигрантов, застаёт картину, страшно изменившуюся по сравнению с 1905 годом: свободу и хаос, большую экономику, жизнь в предчувствии голода и грандиозного военного поражения. Как и большинство анархистов, он принял большевистский переворот в октябре, надеясь, что лозунги «мир народам», «заводы рабочим», «земля крестьянам» будут воплощены буквально – на это надеялись тогда все крайне левые, но их надеждам, как известно, не суждено было сбыться. Все, что обещано было трудящимся, переходило в руки грандиозного монополиста-работодателя – рабоче-крестьянского государства, всякое несогласие с чиновниками которого отныне рассматривалось как контрреволюция. Обосновавшийся в Петрограде «Голос труда» тщетно пытался переорать большевистские издания, что путь избран неверный и тупиковый (то, что рабочие пошли за большевиками, поверив в их радикализм, Волин совершенно правильно объяснял слабостью русского пролетариата, крайней его неопытностью в самоорганизации, в отличие от европейцев и американцев).

Весной 1918-го, когда в России начались репрессии против анархистов, Волин стал дрейфовать на юг – Бобров, Курск. В Курске его застала первая конференция федерации «Набат», объединившей анархистов Украины и России: делегаты выглядели достаточно удрученными неудачами движения и достаточно озабоченными, чтобы показаться возможным создать сильную работоспособную организацию, своего рода партию,

противостоящую коммунистам. Кроме того, на Украине отворилась ему и реальность совсем иного рода: помимо кружков, помимо бесконечных и бесполезных придумок столичной радикальной интеллигенции, которые конечно же были просто политическими игрушками, пасьянсами и лото по сравнению с грандиозными предприятиями большевиков, – здесь существовало массовое крестьянское движение за свободные Советы, которое к тому же называло себя анархическим! Среди набатовцев, а уж тем более среди столичных анархистов, всегда были люди, относившиеся к Махно и его армии скептически – тот ли это народный герой, о котором еще со времен Бакунина мечтали русские анархисты? Не слишком ли неказист лицом? Не слишком ли жесток? Не слишком ли властолюбив? Но Волин предпочитал не теоретизировать по этому поводу. Он считал, что дело революционера, а уж тем более анархиста – быть с «массами». Поэтому в августе 1919 года он оказался в Повстанческой армии. Здесь наладил газету «Путь к свободе», которую – от случая к случаю – печатали то в роскошной типографии, то на передвижной «бостонке». Но главное было не в этом. Главное заключалось в том, что как теоретик Волин сумел внушить Махно, что именно теперь, после ухода большевиков с Украины, ему и его Повстанческой армии выпадает редчайший в истории шанс начать третью, подлинно народную революцию, которая освободит все мировое человечество от растлевающей власти двух монстров – капитала и государства.

То, что Махно это запомнил, что эта перспектива крепко засела в его голове, подтверждается тем, что он сам, так или этак переиначивая, повторяет Волина в своих сочинениях. Волин дал ему другой угол зрения, другой масштаб оценки собственных скромных деяний. За словами Волина были умственная работа, конференция, «Набат», наука. И пока батькина голова пылала от внезапно обрушившихся на него перспектив и необыкновенной, в связи с этим, перед человечеством ответственности, белые, добившиеся на фронтах бесповоротного, как казалось тогда, успеха, решили покончить с Махно.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 2 апреля 2025 11:17:05

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 2 апреля 2025 11:17:18